

Николай Верёвошкин



СРУБ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

Когда думаю о хрупкости земного существования, о внезапных поворотах судьбы, великих потрясениях, свежих ветрах и сквозняках истории, представляю не крушение империй, не исчезновение народов и языков, не песчаные дюны на месте городов.

Я думаю о судьбе одного строения из лиственницы.

Переселенцы из Поволжья и других мест империи – курские, мордва, малороссы – обосновались в излучине Ишима. Здесь было всё, что нужно крестьянину для жизни. Чернозем, не знавший плуга. Пойменные луга. Река, полная рыбы. Обитали в ее чистых водах в ту пору, помимо привычных язей, налимов, шук, окуней, чебаков, и нельма, и раки. Лесостепной, озерный край, на пути сезонных миграций дичи. Перелетных гусей и уток в сезон, как мошкары. Тучи. Водилась здесь и бескрылая птица дрофа. И забавный зверек с львиным хвостиком, способом передвижения напоминающий крошечных кенгуру. Тушканчик. В нетронутых березовых колках и борах – грузди, лисички, обабки, белые грибы, земляника и эндемик здешних мест – кустарниковая дикая вишня. А в пойменных тугаях – ежевика, смородина, щавель, певчие птицы. И, конечно, краснотал. Зверья – в изобилии. И травоядного, и хищного. Лоси, косули, рыси, лисы, волки и даже медведи. Увы, от того изобилия до наших дней остались только названия. Скажем, Аю Тас, или Медвежья сопка.

На пастбища коренных жителей пришельцы не посягали и потому, имея к тому же уважительную привычку не лезть в чужой монастырь со своим уставом, быстро поладили с местными.

Не знаю, по какой причине землемер назвал новое поселение Марьевкой. Должно быть, жена его звалась Марьей. Или дочь. Но почему-то мне кажется, что назвал он село в память о своей маме. Мама Марьевка. Вполне возможно, мамой землестроителя была Мария, но крестьянскому уху привычнее Марья.

Поставили переселенцы шалаши и, прежде чем обустроиться, подняли целину, засеяли пшеницей. А уж потом застучали топоры. Завизжали пилы. И поднялись на голом месте избы, срубленные из местной березы, крытые земляными пластами. А у кого сил и средств не хватало, слепили землянки из самана. По мере того как село богатело, появлялись дома из кирпича, а земляные крыши заменялись на тесовые, железные. На худой случай – соломенные. Оплели тальниковыми плетнями пятнадцать соток возле каждого дома, выделенные под огороды. По



этим плетням можно было судить о характере хозяев. У кого-то тып-ляп на скорую руку, лишь бы скотина в огород не залезла. А у иного выплетены с таким тщанием и искусством, с каким даже корзины и самолочки не плетут.

Всё у них было, и руки, и к чему эти руки приложить. После череды урожайных лет село богатело. В отчете генерал-губернатора за 1903 год оно было отнесено к очень зажиточным. У каждого второго крестьянина железный плуг. На тысячу двести душ – пять тысяч коров да мелкого скота до четырех тысяч. Торговых лавок больших и мелких больше десяти. Маслодельный завод. Семнадцать ветряных мельниц да три водяные. Аптека. Фельдшер. Пожарный обоз на четыре бочки. Две ярмарки в году. В том же отчете губернатор отмечал с нескрываемой печалью: попивают крестьяне. С чего бы? Разве что от хорошей жизни? Чего не хватает?

Одного не хватало крестьянам, то есть христианам.

Церкви.

Без нее ни свадьбу справить, ни детей родить, ни умереть по-человечески.

Обратились марьевцы с челобитной в Тобольскую епархию с просьбой построить в селе храм. Но, видно, много в те годы было таких обращений. Долго ждали ответа. Не дождалось. Обратились в Омскую епархию. Не вняли. И тогда, положившись на божью помощь, взяли крестьяне дело в свои руки. Скинулись в складчину на строительные материалы и срубили храм сами.

Из лиственницы. Нет породы долговечней. Кто не слышал о сваях из лиственницы, на которых до сих пор стоит Венеция? А все, что долговечно, не дешево. Десять тысяч рублей пожертвовали земляки на храм. Сумма достоверна. Любопытные при желании могут перевести ее на сегодняшний курс, узнав сколько стоила в Российской империи в начале двадцатого века, скажем, корова. Но уж если строить для Бога, то от души и надолго. Желательно навечно. Лиственница в окрестностях села не росла. Везли издалека. Венцы из Марьевской церкви и сваи Венеции – кровные родственники. Из одной тайги.

Не могу ручаться за достоверность моих ранних детских воспоминаний, но по рассказам прабабушки, как я их помню, часть денег на строительство храма внес раскаявшийся разбойник. Был он в преклонных летах, когда даже бандиты становятся философами и праведниками, а размышлял так: на том свете ни золота, ни серебра не нужно, а потратить их на богоугодное дело, может быть, ТАМ к нему отнесутся благосклонней.

Впрочем, о чем он думал, была ли это взятка Богу или вклад в общее дело от чистого сердца, кто теперь скажет? Да и не был ли тот разбойник местной легендой? Ныне все достоверные истории наполовину состоят из мифов.

Сколько лет прошло, сколько поколений сменилось, а жива мистическая генная память: закроешь глаза и – стоишь ты в свежесрубленном предками храме. Окружает тебя благодать и запах лиственницы. Свежий, еле уловимый ветерок, щебет воробьев и чистота. Как в душе, так и под майским куполом неба.

И всё село крестится в восторге и умилении, смотрит вверх, где устанавливают сияющий на солнце крест. А он играет отсветами пасхального солнца.

И в эту высокую, душевную секунду слышится детский плач. Это звучит голос не переселенца, а коренного жителя этих мест. Он родился здесь, и это его родина.

Первая служба. Церковное пение. Первый звук колокола. Первый благовест. Первая совместная молитва. И сотворяется чудо соборности, когда множество разных, порою враждебных душ, соединяются в одну общую душу.

Знаете, эти переживаемые сообща минуты и секунды редкой благодати можно испытать не только в церкви. Летний закат, цветение черемухи, долгожданная грозовая туча после долгой засухи, просто сияние пасхальных небес, первый подснежник, земляничная поляна, тяжелая от зрелых ягод, живописное полотно, стихотворение Пушкина или Тютчева – да мало ли что и кто волнует и умиляет человека. И когда мы с дедом-атеистом, огнепоклонники, сидели у «голландки» и смотрели в огонь, а за ставнями выла вьюга, с нами сидел и Бог, в которого мы не верили. Дед по печальному опыту долгой жизни, а я по крайнему малолетству и вере в деда. Благодать – это всегда присутствие Бога. И не имеет значения, веришь ты в него или не веришь. Единая, одна на всех соборная душа – и есть Бог.

Как это объяснить попроще и подходчивее? Соборная душа – это бессмертный полк. Ты, потерявший веру в человеческую порядочность, вливаешься в него с портретом отца, деда, прадеда, а рядом с тобой идут христиане, мусульмане, иудеи, язычники и атеисты, и все вы, все мы – единая соборная душа. Как описать это чувство? Ком в горле, слезы на глазах, одна на всех песня, одно большое сердце. «И в том строю есть промежуток малый...» И всё это – благодать. Благодать как присутствие единого Бога.

Вокруг церкви разбили парк. Желтая акация. Тополя. Клены. И, конечно, березовая аллея.

Вместе с церковью построили дом для священника, приходскую школу, как сказано в отчете, «на 75 человек и 57 девочек». Появилась первая библиотека на пятьсот томов.

Поселение, организованный табор, стало уездным селом. Жизнь обрела основательность, будущность. Прочность. Надежность. Смысл.

Полетели дни за днями, как листья с осеннего клена.

Как бы сквозь речную рябь вижу я глазами давно покойных дедушек и бабушек далекое время войн и революций. Шторм в центре империи мелкими волнами, слабым предгриппозным ознобом докатывался до далекого села, счастливого в своей патриархальной дремоте. И эта мелкая дрожь не потрясала основы, пока не пронеслась над селом ураганом гражданская война.

Единая соборная душа, словно радуга, раскололась на душу белую и душу красную. Кроме прочих соцветий, был еще и самый крупный осколок этой когда-то единой души – ни вашим, ни нашим. В смысле: идите вы все к чертовой матери и не мешайте пахать землю.

Полнее всех и честнее всех о том взбаламученном времени поведали мне частушки старого матерщинника деда Петрова. Вот одна из них, не лишенная очарования черного юмора:

*Если вас поставят к стенке,
Вы вначале вскрикните.
Раз поставят, два поставят,
А потом привыкните.*

В клочья разорвало единую соборную душу.

Но гражданская война такая вещь, что в тылу не отсидишься. Хотя...

Когда я был пионером, наш отряд помогал директору краеведческого музея создавать историю партизанского движения, выявлять подвиги земляков в борьбе за установление в нашей Марьевке советской власти. Мы с моим другом Булатом Шариповым принесли в музей козлы, на которых дед Кузнецов пилил дрова.

Вместо одного из рогов в эти козлы был вбит ржавый трехгранный штык от винтовки. Сначала мы хотели принести один штык, но не смогли его расшатать.

Директор музея очень обрадовался экспонату и попросил нас принести воспоминания наших дедушек и бабушек, участников славного партизанского движения.

Мой дед по отцу, пимокат, был большим молчуном и при этом известным сквернословом, а бабушка охотно поделилась своими воспоминаниями: «Как же не помнить? Помню, как вчера было. Партизанили, еще как партизанили. Когда Колчак пришел, наших мужиков хотели в его армию забрать. Вот они собрались да убежали прятаться в Бабаев бор. Целый месяц прятались, а жены им по ночам хлеб да вареную картошку в ведрах носили. Страху на всю жизнь натерпелись. Так и пересидели мужики Колчака».

Как-то это не героически звучало. Я-то рассчитывал на лихие атаки красных кавалеристов, тачанки, пулеметы и простреленные полотнища знамен. «А потом наши пришли?» – спросил я в надежде услышать продолжение. «Когда наши пришли, мужики снова в лес побежали прятаться, – охотно продолжила героическую повесть бабушка, – только советскую власть не пересидишь в лесу, да и женам надоело по ночам в Бабаев бор бегать. Уж больно тяжелы были ведра. Мужики-то крепкие были, много ели».

Всем хороша была советская власть, жизнь без паразитов и захребетников. Но старики были в ужасе от своеволия и безбожия внуков. На глазах всего села мой юный предок, опьяненный небывалой свободой, рубил топором крест на церкви. Овчинный полушубок растегнут, шапка полетела вниз, а ему всё посередине. Красуется перед землячками. Вот он, каков я, свободный от царя, от мирового капитала, от самого Бога и даже от законов природы. В дикой удали поскользнулся воинственный безбожник, сорвался с полусферы купола и вместе с крестом под собственный крик и вздох ужаса земляков свергся вниз.

И не разбился.

– Бог милостив, – сказала ему моя юная бабушка, перекрестившись, – пожалел тебя, дурака.

Вскочил святотатец, обхлопал себя со всех сторон и заорал, ликуя:

– Бога нет!

И поцеловал мою будущую бабушку в губы.

Моя бабушка описывала это событие как чудо. Но, по-моему, никакого чуда, если исключить, конечно, поцелуй, не было. Да, церковь была самым высоким строением в уездном селе. Но не таким уж и высоким. К тому же в те времена еще не имели привычки осквернять землю асфальтом. Надо учесть, что дело происходило зимой и, полагаю, под стенами храма намело сугробы.

Ахнула Марьевка, зашептала о конце света. Но прошло время, в силу вошло новое поколение, и земляки привыкли жить без церкви, без Бога. И только старушки хранили в красных углах иконы, проявляя невиданное инакомыслие. Самые рьяные богоборцы рубили старинные иконы своих несознательных бабушек на забрызганных кровью домашних птиц чурбанах. Но большинство не обращало внимания на суеверия темных старух. Вот доживут свой век темные старушки, а вместе с ними и умрет их выдуманый бог.

И стала церковь просто помещением.

Поместили в ней клуб.

По революционным праздникам в бывшей церкви проводились торжественные собрания, на которых клеймили капиталистов, кулаков и ругали бога как пособника буржуев в эксплуатации угнетенных масс. А перед входом висел кумачовый плакат. Если верить все тому же деду Петрову, на нем был начертан грозный лозунг: «Товарищи! Выполним план по подразверстке! К годовщине Октябрьской революции вырвем шерсть и яйца у кулака!»

Но и для новых поколений церковь оставалась церковью. Хотя бы потому что, став клубом, она выполняла свое предназначение – места сбора, общения. Прихода. Уже и купола разобрали, и крышу перекрыли, но все знали, что это здание изначально было церковью. И в нем все еще оставался Бог. Трудно передать особое настроение, с которым ты поднимался по широкой лестнице на высокое крыльцо, подходил к кассе за волшебным синим билетиком, пропуском в нездешний мир, входил в зал, наполненный особой, волнующей душу акустикой. И были тогда такие фильмы, что превращали зрительный зал в одну сопричастную сюжету душу.

Даже если ты не верил в Бога, душа-то у тебя была.

И в душе этой царил соборность.

Забегая вперед, расскажу об одном малозначительном эпизоде, никак не повлиявшем на историю человечества. Однажды в ожидании сеанса в фойе собрались мальчишки. Уже не помню, по какому поводу мы заспорили с Толиком, отец которого, представьте, был потомком американского негра, приехавшего когда-то в Союз за лучшей долей. Пустяшный спор, как это часто водится у мальчишек, перешел в драку. И мой лучший друг Коля Пышкин, иранец, встал между нами и сказал: «Пацаны, вы же родственники».

Мы рвались в бой и не желали признавать родства. И тогда Коля по памяти нарисовал наши родословные древа, и оказалось, что корни их переплелись три поколения назад.

Этот факт так изумил участников и свидетелей дуэли, что все стали вспоминать свои родственные связи, и оказалось, что все до одного, сколько нас ни было в фойе, – немцы, иранцы, чеченцы, казахи, литовцы, не говоря уже о русских, украинцах и белорусах – все мы родственники. Вот так дашь сторяча шкету по шее, а он троюродный плетень по материнской линии. Это было одно из самых счастливых потрясений, которые я когда-либо испытал в жизни. С этого дня я никогда не дрался с земляками. Хотя, конечно, иногда очень хотелось. Да и надо было.

Церковь без креста оставалась церковью. Особенно ясно это было в дни больших бед и потрясений. Отсюда провожали земляков на фронт. И здесь по-особому звучали слова об Отечестве и вере в правое дело. И матери крестили своих сыновей и вешали на их крепкие крестьянские шеи оловянные крестики. И никто не посмел обвинить их в суеверии, потому что изгнанный из церкви справедливый Бог был на стороне земляков, уходящих на смерть. Он не держал обид. Ему-то, думаю, все равно – верим мы в него или нет. Ему главное, чтобы мы поступали по-божески.

Время Целины, когда Марьевку захлестнула новая волна переселенцев, я помню, хотя и очень смутно. Возможно, память моя заимствована. Что может помнить четырехлетний человек? «Какая целина? – удивлялись старожилы. – Всё, что нужно было поднять, уже подняли наши предки. Одни неугоды остались».

Но родине нужен был хлеб. Пахать так пахать! И содрогнулся лесостепной край от лязга гусениц, вспороли залежные земли стальные лемеха. Перепахали всё, что нужно и что нельзя было пахать. В том числе и сухие, богарные возвышенности, на которых ничего, кроме ковыля, не росло. Как говаривал дед Петров, старый балагур и сквернослов: заставь дурака целину поднимать, он и лысину себе вспашет.

Тьма сусликов бежала от потрясенной степи к Ишиму, бросалась с обрывов глинистых берегов в спокойные воды и тонула тысячами.

В сухой, безводной степи возникали новые поселения. Домики строили на скорую руку из камышитовых плит. Звали эти домики финскими. Было много задора, много энтузиазма, техники и веры в светлое будущее. Воды было мало. А дожди выпадали не ко времени. Задержанные на полях снега быстро сходили, не напитав почву. Копали котлованы. Но что значили эти лужи для совхоза, на территории которого могло разместиться иное европейское государство? Сущие пустыки. Так, искусственные озерца для разведения карася.

Спокойно, товарищи. Нет воды? Будет вам вода! В беде не оставим. Проведем в сухую степь водоводы.

И эти правильные, обнадеживающие слова означали одно – смертный приговор для большого красивого села Марьевки, которому была предназначена судьба степной Атлантиды.

Ниже по течению изыскатели нашли прекрасное место для строительства плотины на Ишиме. Скалистое основание. Небольшая деревенька на возвышении. Очень удачное место. Сюда и переселим марьевцев.

Удачное-то удачное. Но все-таки переселить нужно не десяток-другой изб. Все-таки райцентр. Или, как говорили марьевцы, центр рая. Несколько тысяч живых душ. Никаких сомнений, товарищи. Переедем на другое место и заживем лучше прежнего. Опомниться не успеете, как будете жить в довольно крупном промышленном городе с населением не менее пятидесяти тысяч душ. Вперед, в светлое завтра.

Слова правильные, слова бодрые, но одно не учли устроители новой жизни – невероятно болезненную склонность марьевцев к ностальгии.

Что такое не просто покинуть, бросить свою родину, но и утопить ее как котенка в ласковых ишимских водах? Я, склонный к этой поэтической хвори, пережил эпидемию ностальгии вместе с земляками. Возродилась у безбожников соборная душа, страдая и мучаясь тоской по приговоренной родине.

Помню, в детстве родители продали наш саманный дом под соломенной крышей и переехали на соседнюю улицу поближе к центру и школе в дом, срубленный из сосны, крытый шифером. Да, с улицы на улицу. Всего лишь. А я, взобравшись на крышу, глазами, полными слез, часами смотрел в сторону райсоюзских складов, рядом с которыми за Овражным переулком осталась моя родина. Душа моя невыносимо страдала и рвалась на части. Я чувствовал себя одновременно изгнанником и предателем без надежды на возвращение в благословенный край, без надежды на будущее. Всего лишь с улицы на улицу.

Отец работал в строительном тресте, возводящем новый город. И наша семья переехала на новое место одной из первых. На каникулах мы с братом в составе геодезической партии принимали посильное участие, говоря языком профессионалов, в возведении жилья и бытовых объектов нового города, приближая тем самым конец нашей Марьевки.

Не знаю, по какой причине новому городку так и не присвоили красивое имя Целиноморск, а оставили за ним невзрачное сельское название – Сергеевка. То ли сэкономили копейки, то ли в комиссию по переименованию затесался провидец, равный бабе Ванге.

В пик очередного переселения потомков переселенцев сразу после школы я уже работал в районной газете и по заданию редактора был направлен в зону затопления – подготовить ругательную статью о последних упрямяках, не желающих оставлять обреченную родину. Я был пристегнут к участковому и следователю. И в душе был рад встретиться с последними героями, готовыми утонуть вместе с родиной.

Но повод для статьи был прозаическим, хотя и убийственным: накануне последний продуктовый магазин, остававшийся в Марьевке, был ограблен. Дерзкого преступника из оставшихся семи жителей отыскать было нетрудно. И он был найден и изобличен в секунды. Синий от наколок и алкоголя, пьян и весел, сидел он с трудом на расшатанном табурете и пытался членораздельно давать показания, то есть вводить следствие в заблуждение. Перед ним неопровержимой уликой стоял ящик водки, свалены в кучу консервные банки, а участковый демонстрировал мне и фотокопу, выполнявшим роль понятых, орудие взлома – лом из арматуры.

Когда следователь попросил обвиняемого предъявить документы, удостоверяющие личность, тот хмыкнул добродушно и, разведя руки, ответил загадкой: «Начальник, чем Москва похожа на Марьевку?» Следователь, в чьи профессиональные обязанности входило именно разгадывание загадок, заинтересовался: «И чем же?» – «Ни в Москве, ни в Марьевке нет прописки». – «Надо ли понимать твои слова так, что никаких документов, кроме справки об освобождении, у тебя нет?» – «Соображаешь. Давай выпьем за знакомство. Угощая».

Героев, по идейным причинам решивших утопиться вместе с родиной, в тот день я не встретил. В обреченном на слом селе в нескольких еще не снесенных избах, торчащих на удалении друг от друга, как гнилые останки зубов в старческом рту, оставались одни пропащие души и примкнувшие к ним чужаки с уголовным прошлым. Увы.

Растерзанная Марьевка же произвела на меня мало сказать гнетущее впечатление. С тех пор приходилось видеть не одну катастрофу, но ничего более неприятного, чем в тот день, я не испытал.

Ломали церковь. Да, конечно, клуб. Но в тот раз истерзанный обнаженный сруб воспринимался именно церковью. Я спросил одного из разрушителей, на что пойдут бревна бывшей церкви. И он ответил с мрачным цинизмом человека, от которого ничего не зависит: «Мне-то что за дело? Мое дело – ломать». А потом добавил: «Умели строить мужики. Ни одного гвоздя, ни одного гнилого звена. Вечные бревна». Сырой ветер с первыми колючими снежинками дул со стороны темных вод реки. И тогда я до конца понял, что такое отчаяние. Это когда твоя сиротливая душа отделяется от единой соборной души и прозябает в мерзком одиночестве.

Из вечных бревен бывшей церкви и бывшего клуба на новом месте собрали музыкальную школу. Конечно, этого никто не планировал заранее. Так вышло. Дворец культуры уже был построен. Сданы в эксплуатацию две средние школы. Каждая в два этажа, с актовыми залами и спортзалами. Можно было бы пустить бывший в использовании строительный материал на краеведческий музей. Но му-

зею нашли место в строении барачного типа, из которого выехала на место новой дислокации контора строителей плотины. Строить же в городе будущего церковь и на ум никому не приходило. Атавизм какой. Какая церковь? Кому она нужна?

Другое дело – памятник Владимиру Ильичу.

Так что получилось очень удачно: церковное строение стало музыкальной школой. А к чему ближе всего душа? Да, именно – к музыке. Не ко всей, конечно. Но в этой музыкальной школе мальчишек и девчонок учили правильной музыке Душевной.

И закипела жизнь на новом месте. Конечно, переселенцы, потомки переселенцев, испытывали тоску по старому месту. Но надо признать, такие явные плюсы, как центральное отопление и водоснабжение, несколько притупляли ностальгию.

Более того, постепенно марьевцы попривыкли и даже втайне гордились красавицей плотиной, которую обжили, представьте себе, голуби. Стоишь над водопадом весь в радуге брызг и слушаешь, как сквозь его рев воркует плотина.

Гордились и трубой центральной котельной, видной за пятьдесят верст.

Кварталами четырехэтажных домов. Центральной улицей, превращенной в березовую аллею, где у каждого деревца была табличка с именем человека, ответственного за его сохранность. Эти стволы в самую лютую стужу железной волею первого секретаря райкома Есима Шайкина выдалбливались из посадок и с громадными комьями прикорневой земли перевозились в город, где их уже ждали выдолбленные вдоль дороги ямы. Мало кто верил в зимние посадки. Но случилось чудо – прижились березы. И родился миф: в нашем райцентре на душу населения на одно дерево больше, чем в Алма-Ате. Хотя отчего же миф? Если присовокупить три-четыре нетронутых рощи в границах поселения, то вполне, вполне.

Лично я гордился заводом сухого и обезжиренного молока, поскольку, покинув газету, принимал участие в его возведении в качестве сначала подсобника, а затем и каменщика третьего разряда. Первого из промышленных предприятий, планируемых возвести в новом городе. Рядом с заводом строился крупный элеватор. Выдал первую продукцию пивзавод, построенный по чешской технологии.

Помню, как мы с моим бывшим учителем литературы потягивали из граненных бокалов НАШЕ пиво, и старый мечтатель, имевший обыкновение приходить на уроки с аккордеоном, говорил, вдохновенно сдувая ароматную пену: «Сегодня по пути из школы я насчитал 12 подъемных кранов. Такими темпами помереть не успею, как построим коммунизм». При чем здесь аккордеон? Разговор не на час-два. Есть люди – как острая приправа к обыденному блюду. Вкратце: на этом аккордеоне мой старый учитель пытался воссоздавать музыкальный фон литературных произведений.

Вообще город у Степного моря притягивал к себе молодую интеллигенцию – учителей, врачей, строителей. Интеллигенцию особую, не брюзжащую, не ноющую, а целинную – с мозолистыми лапами пахарей, с телами атлетов, душами поэтов и музыкантов, воспитанную в студенческих отрядах. Это они создавали народный театр, вокально-инструментальные ансамбли, в заливе у плотины строили эллинг, били рекорды на областных спартакиадах, не чураясь охоты, рыбалки, заготовки грибов и ягод, а во время уборки не считали зазорным поработать на комбайнах. Это вокруг них поднималась молодая поросль романтиков,

спортсменов, музыкантов. А у признанного лучшим учителем года физика весь класс до одного поступил в высшие учебные заведения. Этот учитель у ревнивых коллег заслужил славу расстриги и отступника, потому что принципиально не ставил оценок. Он не хотел, чтобы его предмет вызывал страх у его учеников и глушил врожденную любознательность. Много необычного было в те годы. Допустим, березовые рощи, оставленные как парки и скверы в городе. Но приятнее всего было ходить мимо музыкальной школы: вечная весна, всесезонный щебет человеческих птенцов.

Городок был золотой серединой между раздольной скукой деревенской жизни и тщетной суетой мегаполиса. Действительно – центр рая. Мои земляки и без церкви жили с Богом. Я чувствовал соборность, я был частичкой общей души.

Но люди в погоне за миражами легко проскакивают золотую середину, состояние душевного покоя и равновесия. Что нарушает это равновесие? Жадность, зависть, безудержное стремление к комфорту. Ну и глупость, конечно. Я не имею ввиду ни марьевцев, ни сергеевцев. Всё, что случилось, случилось не по их вине.

А случилось изгнание из рая.

Жили, работали, не особенно беспокоясь о будущем. Да вдруг опять – рябь из центра. Оказывается, не так жили, не то строили, не туда шли. Что надо-то? А надо всё разломать, порушить и вернуться лет на семьдесят назад – всё само собой и устроится да наладится.

И покатилося всё к чертям под гору. Свежий сквонзючок превратился в разрушительный ураган. Город у степного моря еще как-то держался по инерции, пока не встала центральная котельная. Жители отключенных от тепла и воды многоэтажных домов пытались элементарно выжить: в квартирах появились буржуйки, сваренные из железных бочек, а во дворах – общественные туалеты. Учителям, врачам, строителям, бюджетникам перестали выдавать зарплаты. Город выживал на подножных запасах. То, что раньше было развлечением – охота, рыбалка, грибы, ягоды, огороды – стало вопросом жизни и смерти. Даже учителя возмутились: чем детей кормить, чем, в конце концов, печи и буржуйки топить?

Заведующий отделом народного образования только затылок чешет и руки разводит. Говорит: «Вот музыкальную школу закрыли. Можете разобрать ее на дрова в счет зарплаты. Хоть чем-то печи топить будет».

Многие учителя поначалу отказались брать зарплату бревнами. И фыркали с презрением. Но, успокоившись и подумав, решили: печи действительно чем-то надо топить. Зиму не отменишь и не перенесешь. Создали бригаду из молодых учителей – физиков, математиков, трудовиков и физруков, а те после уроков и по воскресеньям раскатали то, что вначале было церковью, потом клубом и, наконец, музыкальной школой на бревна. Раскатали и разделили по бревнышку между теми, кто изъявил взять дрова вместо зарплаты.

Так и спалили большую часть давно обезглавленной марьевской церкви в буржуйках многоквартирных домов и печах частного сектора. Поднялась она с дымом в небеса и растворилась без остатка.

Грех? Наверное, грех. Только не мне, прожившему большую часть жизни без Бога, читать проповеди по этому поводу.

Но два учителя использовали бревна из вечной лиственницы по назначению.

Один, физик, живший на земле, сложил из них строение, часть которого занимала мастерская, а часть – баня. На крыше располагалась обсерватория.

Что тут сказать? Конечно, нехорошо строить из церковных бревен баню. А сжечь их в печи лучше? Баня тоже имеет некий сакральный смысл. Очищение. Не говоря уже о мастерской. Всякое ремесло угодно Богу. Что же касается самодельной обсерватории, весьма похожей на купол и предназначенной для наблюдения небесных светил, я вообще молчу. Тут и доказывать ничего не надо.

Второй же, учитель по труду, жил в городской квартире, а когда представился случай практически даром взять землю для дачного участка, воспользовался им и построил красивый домик в прибалтийском стиле, с мансардой под острой крышей, на крутизне которой не мог подолгу накапливаться и удерживаться снег.

Вот и всё, что осталось от бывшей церкви, клуба и музыкальной школы.

Вскоре жителей городка с деревенским именем ждало очередное переселение. На этот раз оно не носило организованный характер, а напоминало паническое бегство. словно взрывом разметало земляков по сопредельным и дальним странам. Даже тех, кто никуда не собирался уезжать. Долетели эти осколки, как выражается мой друг, «великой марьевской цивилизации», аж до Израиля, Германии и Америки. Говорят, наших земляков можно встретить и в Австралии, и даже на юге Африки.

Город давно уже был не городом, а деревней с зияющими пустырями и развалинами на месте многоквартирных домов, когда в нем появился батюшка. Новый Савонарола. Был он обильно волосат, худ, юн, задирист и бескомпромиссен. Страстью и верой своей напоминал комсомольцев двадцатых годов, сшибавших кресты с церковью. Неумоимо и горячо обличал он грехи местного населения, причем не грехи вообще, а их конкретных носителей, за что дважды был бит.

Старушки взяли батюшку под свое покровительство и всюду сопровождали его в качестве телохранителей, а лучше сказать, народной дружины.

Но, надо отдать ему должное, был занозистый батюшка целеустремлен и настойчив. Прошло несколько лет, и рядом с кладбищем, где больше могил, чем домов в умирающем городке, была построена церковь из кирпича. И безбожники в злоязычии своем говорили: в прежнее время жили без церкви, а столько, как сейчас, не грешили. Люди хуже людоедов стали, так и норовят съесть того, кто послабее. Вроде и церковь есть, а Бога в ней как бы и нет. И в этих богохульных словах, увы, была своя правда. Но дело не в том, что когда-то изгнанному из деревянной церкви Богу не понравилась церковь из кирпича. Дело в человеческих отношениях. Бог, если он есть, живет не в церкви, а в нас. И если мы не даем ему объединить самих себя в одну соборную душу, с кого спрашивать?

С батюшкой я познакомился при печальных обстоятельствах.

Хоронили маму. Надо было пригласить батюшку, чтобы отпел. Пошел к батюшке мой брат. Тот наотрез отказался под тем предлогом, что она безбожница, всю жизнь проработала учительницей начальных классов, воспитывала безбожников, и нет ей прощения от Бога. Горяч и бескомпромиссен юный батюшка, но далеко ему было до моего брата. «Ты кто такой, пацан, чтобы решать за Бога? Да в одном ноготке моей мамы больше святости, чем во всем тебе вместе с рясой, потрохами и битловской прической». В общем, мой искренний брат никогда не отличался дипломатическими изысками. Что думал, то и говорил. Высказал он и такое соображение: в сопливом детстве своем батюшка был троечником и теперь, заполучив сан, мстит учителям за свою тупость. А тупость, как и смерть: ты ее не замечаешь, а страдают другие. Короче говоря, быть бы батюшке битую в третий раз, если бы брата не сопровождала наша младшая сестра.

Никого не боялся батюшка, кроме Бога и матушки. А Богу было угодно, чтобы сестра наша некогда училась с матушкой в одном классе.

Он пришел, хмурый подобно ноябрю, раскурил кадило и исполнил неприлежно обряд. Но не утерпел и тут же у гроба стал обличать и ругать всех нас – грешников и богоотступников, грозя ужасными карами. Как и все радикалы, был он предвзят и несправедлив.

Трудно было держать себя со смирениями, выслушивая не утешения, а незаслуженные оскорбления в самый печальный час расставания с близким человеком. Но я, привыкший к компромиссам, сдержал себя, а брата держала за руку и успокаивала сестра.

Провожая батюшку к стареньким «Жигулям», я все-таки со сдержанностью, на которую только был способен и в самых мягких выражениях сказал ему о том, что всем он хорош, но не достает одного – любви, а без любви к пастве служить Богу невозможно. Ничего не ответил мне на это батюшка, а лишь испепелил взглядом.

За рулем «Жигулей» сидел тот самый учитель труда, построивший из бревен музыкальной школы дачный домик. Он вызвался привезти и отвезти батюшку. Общительный и добродушный человек, учитель не переносил долгого молчания и нашел общую тему для разговора со служителем культа. Темой этой была судьба марьевской церкви. Надо ли говорить, какое возмущение вызвала у батюшки трансформация церкви в клуб, музыкальную школу и, наконец, в баню и дачный домик. Тут бы и замолчать трудовику, но он поставил печальную точку: на днях то ли бомжи, то ли рыбаки самовольно ночевали на даче и, растопив печь наломанным из ограды штакетником, сожгли строение.

О, как вскипел батюшка! Какие казни египетские обрушились на голову трудовика! Слушал он, слушал, а как только Савонарола замолчал, заговорил, стараясь быть вежливым:

– Вот Вы всё призываете покаяться, всё грозите гиеной огненной. А вы знаете, как живут те, кто не уехал, спасая семьи, в нефтяной край, кто не сбежал за бугор? Так я расскажу. В моем сорокавосемиквартирном доме без крыши живут три семьи. Без воды, без тепла, без газа, без зарплаты, без надежды на будущее. Буржуйка, труба в окно. Четвертый этаж пуст. На третьем в боковой однушке живет учительница музыкальной школы, которой уже нет. Кровать, рояль, кухонный стол, ноты. Всё. К ней приходят дети, бывшие ученики. И она учит их нотной грамоте за так. Представьте себе: ночь, весь дом темен, в провалах окон и дверей гудит сквозняк. И только в одном окне свет и Шопен. Чем не лучик надежды, батюшка? Ее-то, детдомовку, за что в гиену огненную?

Понимаете, у людей отняли надежду. А тут Вы со своей злобой и адом. Напугал. Какой ад, если они уже живут в аду? Я так понимаю: Бог – добро. Почему же Вы такой злой, мстительный? Я бы сказал, злорадный. Уж не дьяволу ли Вы служите, прикинувшись пастырем? Бог – свет, а Вы тьму проповедуете, ад рекламируете. От Вас, батюшка, серой несет. Вот зачем Вы сегодня хороших людей в их горе оскорбили? Несчастливым, брошенным людям слова утешения нужны, а Вы кружитесь над ними черным вороном и всё страшаете, страшаете.

– Веруешь ли ты? – прервал водителя священник.

– Извините, батюшка, но после Ваших проповедей только в ад и поверишь. Вы, как плохой учитель, который не может заинтересовать детей своим предметом, а только грозитесь вызвать родителей, исключить из школы и направо-налево ставит двойки.

Встрепенулся батюшка, спросил: «Дотла спалили?». И узнав, что начавшийся той ночью дождь сохранил несколько звеньев сруба, велел развернуть машину и ехать к пепелищу. Батюшка молчал и только попросил трудовика помочь ему извлечь из недогоревшего сруба два обгорелых закопченных бревна. Они погрузили их на багажник и, примотав останками электропроводки, отвезли к церкви.

Для чего они нужны были батюшке, я узнал спустя пятнадцать лет.

Мой земляк, с которым в последний раз «вживую» мы виделись на похоронах мамы, ныне гражданин Германии, связался со мной по Скайпу. Рассказал о ностальгическом путешествии на утопленную родину. Родину, где ни у меня, ни у него не осталось родных.

Постоял он на плотине, откуда призрачной дымкой, фата-морганой в ясную погоду виден остров Марьевский.

Здравствуй, Марьевка, мама Марьевка.

Рыбы тычут носами в завалинки,

Спит налим в моей маленькой спальне...

В общем, грустно чувствовать себя последним жителем недоступной Атлантиды детства. Что осталось от прошлого? Память. Память, которая уже через поколение становится мифом. Было, не было? Все твои воспоминания, все детские беды и радости – там, в темной глубине ишимских вод.

– На месте квартала четырехэтажек, где была наша квартира, теперь пустырь. Пытаются превратить в парк. Походил я возле вашего дома. Вспомнил вкус ваших ранетов. Только «дичек» ваших не попробовал. Тополя, яблони, черемуха, рябина, которые вы сажали с отцом, вырублены. Новый хозяин, скучный человек, освободил место под картошку. Кто до него жил, не знает, и знать не хочет. Городок уже не райцентр. Да и не городок. Так, поселение без надежд на будущее. Хотя, кто может предсказать, что случится в будущем? Даже ближайшем. Все близкие люди на кладбище, месте последнего переселения. Сходил на кладбище к могилам родителей. Не мастак передать, что на душе творилось. По паспорту я немец, а по душе марьевец. Но ничего не вернешь...

Я хорошо понимал его сумбур. Знаете, кладбище – это такое место, где, даже оставшись один, ты чувствуешь себя малой частицей одной соборной души. Здесь твоя душа сливается с душами давно ушедших людей. Любимых людей. С небесной Марьевкой. И с годами наших земляков все больше там, а не здесь.

До вечернего автобуса еще оставалось немного времени. Возвращаясь с погоста, земляк зашел в церковь поставить свечки.

Юный батюшка, неистовый Савонарола, заметно постарел, поскукшел. Мой земляк, волею судьбы ставший иностранцем, попросил благословить его. Батюшка благословил. Без души, на автомате. Некогда горящие гневом глаза фанатика подернулись пеплом. В них поселилась усталость и тоска. Мой товарищ детства напомнил ему о событиях пятнадцатилетней давности и спросил, зачем ему нужны были обгоревшие бревна дачи учителя по труду. Батюшка молча пошел на выход. Остановившись у церковной ограды, обернулся и, показав на купола, осенил себя крестным знаменем.

– Из обгорелых останков первой церкви сделан этот крест, – сказал он.

Есть такие события, такие факты, и такие слова, после которых нет желания философствовать. Потому что всё сказано. И чтобы не разбавлять вино водой, надо сразу ставить точку.

ДОЗНАНИЕ

– Так что платите, Мария Григорьевна, 80 тысяч тенге, и весь разговор, – твердо сказала Варвара Семеновна и сделала официальное лицо.

– Да у меня и денег таких нет, – робко отвечала Мария Григорьевна, сухонькая старушка, похожая со спины на девочку-подростка.

Соседки вели переговоры через ограду из штaketника, разделяющую два двора. Дом был один. На два входа.

– Никак не меньше. Не вынуждайте меня заявление участковому писать. Знаете, сколько бы я выручила за гуся по осени на базаре? Кто же виноват. Собаку надо на цепи держать, – не давала себя разжалобить Варвара Семеновна, статью напоминающая кустодиевскую купчиху. Правда, одета она была попроще: клетчатый платок, фуфайка, резиновые сапоги. – Вот мой Шарик – на короткой цепи. Какие к нему претензии? – привела пострадавшая как пример для подражания себя. – Спит, дармоед, в будке, ест да гадит. Даже побрехать лишний раз ленится.

– У, бандит! – заругалась Мария Григорьевна на Бобку, который с веселым выражением морды сидел рядом и время от времени яростно грыз лохматую шерсть, борясь с блохами. – Вот я тебя палкой!

И старушка действительно замахнулась на пса хворостинкой.

Бобка шустро отбежал на два метра в сторону и замахал хвостом, давая понять, что он понимает шутки. Был песик неприлично рыж, обильно лохмат и коротконог. Напоминал самодвижущийся унт. И там, где унт закачивался кожаным носком, у Бобки была серая морда, лукавая и игривая.

Самосуду не дал свершиться Василий Васильевич Понамарев, военный пенсионер, появившийся во дворе Марии Григорьевны.

– Что за шум, а драки нет? – спросил он зычным командирским голосом.

Бобка сел и сделал равнение налево, не сразу разобравшись в своих чувствах: нужно ли обляять Василия Васильевича или правильнее помахать ему хвостом?

– Бобка загрыз моих гусей, а Мария Григорьевна отказывается оплатить урон, – объяснила ситуацию Варвара Семеновна.

– Да я не отказываюсь, денег у меня таких нет, – смутилась Мария Григорьевна.

– Бобка! Подь сюда! – приказал Василий Васильевич.

Бобка внимательно посмотрел на бадик в руках военного пенсионера, на хвостину Марии Григорьевны и остался на равноудаленном расстоянии от двух центров силы. При этом он делал заискивающие жесты подчинения и энергично подметал хвостом землю. Щепки и мелкий сор летели направо и налево.

– Кому сказал, к ноге! – еще строже приказал военный пенсионер.

Бобка, яростно клацая зубами, по уши погрузил морду в шерсть.

– Бобка, медведь новостаровский, ты зачем гусей у Варвары Семеновны задрал? – сурово спросил Василий Васильевич. – Отвечай! Долго будем в молчанку играть? Ты что, подлец, глазки мне строишь?

Василий Васильевич сел на березовый чурбан, служивший колодой для колки дров, поставил бадик между ног и посвистал. Пес, отбросив условности субординации, подбежал и стал на задние лапки, передними упершись в колени военного пенсионера. А после взаимных ласк вообще лег на спину и задрал лапки вверх.

– Неужели Бобка загрыз? – засомневался Василий Васильевич. – Ну ты и крокодил. Сам чуть больше кота, а туда же.

– Больше некому, – ответила за Бобку Варвара Семеновна.

А Мария Григорьевна добавила грозно:

– У, бандит! Убить тебя мало.

– Минуточку, гражданки! Не хотите ли вы сказать, что никто из вас не видел, как эта зверюга учинила убийство?

– Мы с Марией Григорьевной как раз на почту за пенсией ходили. Вот он и воспользовался моментом. Пролез в дыру и передушил. Больше некому. Это он с виду пушистый. Волк в овечьей шкуре. Я сама видела, как он по двору кур гонял, – свидетельствовала Варвара Семеновна.

И Мария Григорьевна, скорбно поджав губы, печально закивала головой: гонял, злодей, гонял.

Старость, как и водка, действует на людей по-разному. Один, постарев, делается ворчливым и подозрительным, озлобленным на все человечество. В другом, напротив, с преклонным возрастом просыпается чувство юмора, пусть и слегка мрачноватое. Третий становится не в меру сентиментальным. Старость, как, впрочем, и водка, на Василия Васильевича вообще не действовали. Как был во-якой, так им и остался. Прямолинейным, как штык трехгранный.

– Тебе бы, Варвара Семеновна, только доносы сочинять. Случись тридцать седьмой год – пол-Новостаровки бы пересажала.

– У меня гусей передушили, я же и виноватая, – обиделась Варвара Семеновна.

– И сколько передушили?

Пригорюнилась потерпевшая от Бобкиного разбоя и углом шали утерла слезы:

– Одиннадцать. Один так и пропал без вести.

– Все ясно. Это его Бобка сожрал, – предположил Василий Васильевич. – Вот только как этот гусь в Бобку влезился?

И, пощекотав Бобкино пузо, добавил:

– В него и полкурицы не влезет. Разве что цыпленок. Цыплят-то душил, злодей?

Бобка заелозил на спине, не сознаваясь.

– Гонять гонял, а душить не душил. Я его, хулигана, хворостиной воспитываю, – поручилась за Бобку Мария Григорьевна.

– Он не дурак своих цыплят душить. Зачем ему своих цыплят душить, когда можно через дырку в соседний двор пролезть и на чужих гусях душу отвезти, – изобличила Бобкино коварство Варвара Семеновна.

– А Шарик куда смотрел? – спросил Василий Васильевич.

Услышав свою кличку, громадный пес, загремев кандалами, вылез из будки, зевнул, раскрыв черную пасть, отряхнул прах с загривка и посмотрел на военного пенсионера равнодушным взглядом пресыщенного жизнью праздного аристократа.

– Посмотрите на него. Одно слово, что собака. Зайди чужой в дом и ухом не поведет. Бобка из его миски ест, а он и не тявкнет. Не собака – заяц плюшевый.

Увидев восставшего от сна друга, Бобка встрепенулся, вскочил на короткие ножки и, подтверждая горькие обвинения Варвары Семеновны, юркнул в щель между штакетинами.

– Посмотрите на них! Век не виделись. Хвостами машут, аж тополь от ветра качается, – с осуждением закачала головой Варвара Семеновна, втайне радуясь столь быстрому подтверждению своих обвинений.

– Куда, шнырок! – заругалась на Бобку и Мария Григорьевна. – Взял, бандит, моду по соседским дворам шнырять. Кому сказала, домой! Я тебе!

Бобка сделал вид, что угрозы к нему не относятся, и спрятался в будке Шарика. А Шарик как стоял, так и рухнул набок, обессиленный. Ноги вытянул и голову на землю уронил. Хотелось ему еще раз зевнуть, да лень одолела.

– А что же ты, Варвара Семеновна, с передушенными гусями собираешься сделать? – спросил Василий Васильевич.

– Да уж сделала. Пока тепленькие были, головы отсекла, ощипала, сварила да в банки закатала. Будут зимой консервы. Хоть шерсти клоч.

– А вот это ты зря сделала, не подумавши.

– Чего же добру пропадать?

– Оно так. Только сначала надо было бы экспертизу провести. Экспертиза бы точно определила, кто душил, как душил, чьи следы зубов. А ты все улики в банки закатала. А как не Бобка, а Шарик загрыз твоих гусей?

– Да что ты такое говоришь, Василий Васильевич! – воскликнула с укоризной оскорбленная до глубины души Варвара Семеновна. – Шарика ты не знаешь? Знал бы, не говорил. Да они за ним гуськом ходили, и по нему ходили, и из его миски ели... Не собака, а святой Антоний.

– О чем и речь. Может быть, Бобка. А может быть, не Бобка. Может быть, Шарик, а может быть, не Шарик. А вот скажу: да это ты их, Варвара Семеновна сама и передушила, а на Бобку для отвода глаз показала? Чем докажешь, что не ты?

От такого поклепа у Варвары Семеновны язык отнялся. И сама она от возмущения обездвижела. Стоит, губами хлопает, а звук не извлекается. Если бы к ней вернулся дар речи, туго бы пришлось военному пенсионеру.

Но в предгрозовой тишине послышались звуки возни, шорох, пыхтение, и из будки показался Бобкин хвостик, содрогающийся от напряжения. Что же он, бандит, упираясь короткими ножками, нагло тащит из жилища своего друга?

Гуся он тащит за длинную шею. Двенадцатого, пропавшего без вести гуся.

– Убью блохоносца! – возопила Варвара Семеновна и побежала за совковой лопатой.

– Отставить самосуд! – зычным командирским голосом пресек ее намерения Василий Васильевич.

Бобка, приняв этот приказ на свой счет, выпустил из зубов гусиную шею, а Шарик, не поднимая головы, скосил на голос, спасший его от возмездия, карий глаз.

– Опять сгоряча судишь, Варвара Семеновна, – укорил потерпевшую Василий Васильевич, собачий адвокат. – Кто тебе сказал, что это Шарик передушил гусей? Может быть, этот гусь спасался от убийцы, так сказать, искал политического убежища. Спрятался в будке да и помер от полученных ран. Кто знает?

Приздумалась Варвара Семеновна, засомневалась. Постояла, постояла, да и говорит тихим, вежливым голосом:

– Мария Григорьевна, Василий Васильевич, идемте в избу. Откроем баночку да попробуем гусиные консервы. Помянем гусей холмогорских.

«Вот я еще не ела гусей, не доеденных собаками», – подумала Мария Григорьевна, а вслух сказала:

– Не могу, Варвара Семеновна. Зуб болит, места не нахожу. К зубному врачу побегу.

А Василий Васильевич от приглашения отказываться не стал.

САМОРОДОК ЧЕПАРЫГА

Селькор Чепарыга был одним из тех самородков, которые столь щедро рождает и так же щедро хоронит в своих суглинках наше захолустье. Если бы он жил в большом городе, быть бы ему великим репортером вроде дяди Гиляя.

Но жил Чепарыга в лесной деревушке Пинай. Не ищите это название на карте. Не найдете. Забыта эта деревушка богом и районными властями. И довольно давно. Дорога к ней – вся в колдобинах, а местами и в пнях – большую часть года непроезжая.

Обнаружил талант Чепарыги и привлек его к сотрудничеству заведующий сельскохозяйственным отделом районной газеты «Приишимские зори» Семен Семенович Халабуда, человек тихий, ничем особенно не примечательный. Выпивающий.

Пинай была, кстати, родной деревней Семена Семеновича. Увы, вымирающей. Вымирала она столько же долго, сколько загнивала Европа.

Как-то, вернувшись из очередной командировки, Халабуда зашел отчитаться в кабинет редактора и сказал:

– Иван Власович, я нашел неограниченный алмаз. Готовый корреспондент. Хоть сейчас в штат зачисляй.

– В чем же дело? Приглашай, рассмотрим. Партийный?

– Беспартийный.

– Не так важно.

– Но беда другая: человек без обеих ног.

– Да, – согласился редактор, – газетчика ноги кормят. Без ног газетчику никак нельзя. И что? Хорошо пишет?

– А вот почитайте. Я, конечно, слегка прошелся. Но это очерк. И неплохой очерк. Хотя и безадресный. Сами понимаете, человеку жить среди его героев. А без ног от почитателей таланта далеко не убежишь.

Редактор закурил и, время от времени сдувая пепел с листов, прочитал текст.

– Засылай в номер.

С тех пор материалы селькора из деревни Пинай частенько появлялись в газете. В основном это были безадресные очерки. На моральные темы. До того безадресные и до того моральные, что редактор иной раз долго сомневался: печатать ли? Но потом, решив, что нештатному автору позволено много больше, чем сотруднику газеты, отчаянно махал рукой: где наша не пропадала, печатаем. Человек-то из народа. Придумывает, правда, черт, но так ловко.

Писал Чепарыга, писал и дописался до документальной повести на историческую тему. О некоей знахарке Ефросинье, которая жила в стародавние времена в лесной землянке и лечила земляков пинаевцев местными травами и кореньями. Причем рецепты снадобий Чепарыга подробно описывал. Однажды в своем лесу знахарка повстречала беглого ссыльного. Рысь его порвала. А знахарка вылечила. И в процессе излечения произошла большая и светлая любовь. Ефросинья приобщала борца за народное счастье к тайнам природы, а тот в свою очередь обучал ее грамоте и открывал глаза на несправедливое устройство жизни. Этот страдалец навсегда остался в деревне и стал первым председателем колхоза «Смычка». Два быка и одна бричка. А когда кулаки и подкулачники, заперев его в правлении, сожгли, знахарку Ефросинью избрали на его место, хотя она в ту пору была тяжела вторым сыном. Этот сын...

– Но почему документальная повесть? Почему не просто – повесть? – задумался редактор, сдувая с губ табак. – Ведь врет, подлец. Но так складно и ловко. Все-таки историческую правду никто не отменял. Как бы нам не загреметь под фанфары. Давай-ка поставим «повесть» и запустим под рубрикой «Творчество наших читателей». В пяти номерах. Подвалом.

Действительно, сельский корреспондент Чепарыга обладал редким талантом убедительно и безопасно для себя врать. Он выбирал такие события, которые нельзя было опровергнуть по причине интимности тем и, в связи с этим, отсутствием свидетелей.

Одна была у Чепарыги странность. Человек боялся публичности и, ссылаясь на свою безноготь, отказывался от поездок в райцентр на ежегодные планерки внештатных авторов.

– Бойтся быть смешным, – объяснял непонятную для журналистов особенность Чепарыги его первооткрыватель Халабуда.

– Однако, растим, можно сказать, писателя из народа, – говорил редактор, приосанившись, – растет Чепарыга от материала к материалу.

– Стараемся, граним, – отвечал Халабуда со всей скромностью, на которую только способен журналист.

– Эх, был бы он двуногим, хоть сегодня в штат бы взял, – вздыхал редактор и при этом с укоризной смотрел на Халабуду. Вроде того: сам-то отчего не растешь?

Тот развел руки и возвел глаза к потолку. Мол, что касается роста мастерства таланта из народа, пожалуйста. Поспособствую. А вот что касается чуда возвращения ног, тут я не в силах, уж извините.

Однажды, будучи в отдаленном Новостаровском совхозе на слете по обмену опытом искусственных осеменителей крупного рогатого скота, на обратном пути редактор «Зорь» решил заглянуть в лесную деревушку Пинай и пообщаться с самородком.

На следующее утро он вызвал заведующего сельскохоззяйственным отделом, долго с мрачным намеком смотрел в его бессовестные глаза и сказал лишь одно слово. Даже не слово, а междометие: «– Ну?»

Халабуда изобразил лицом крайнюю степень невинности: поднял брови и сделал большие глаза. И в свою очередь, требуя объяснений, ответил одним словом. Точнее, предлогом: «– И?»

– Был я в твоём Пинае. Встречался с твоим селькором. Хорошо пишет, подлец. Хотя и покойник. Одного понять не могу, кто гонорар-то получал?

– Мамка его. У них инициалы одинаковые: Антон Петрович, Аглая Павловна. Деньги небольшие, но все – подспорье.

– Вот что мне с тобой делать? Посоветуй. И как будем объяснять ситуацию читателям? Не пойму твоей затеи. Сам за неограненного алмаза писал?

– Что объяснять? Надоело на первую полосу навоз вывозить. Хоть какая-то отдушина.

– Писал бы под своим именем.

– Писал бы. Только кто это мне позволил бы? Я же не самородок из глухой деревни.

– Ну ладно. Умер и умер. С кем не бывает. Чудо воскрешения не в нашей компетенции. Ты подготовил разворот по подготовке техники к весенне-полевым работам? Так чего же ты сидишь? Иди, работай.

СТАРУХА, КОТОРАЯ НЕ ЛЮБИЛА МЕНЯ

Рассказ одноклассника

Старуха не любила меня без особых на то причин и без всякого повода. Ненависть и любовь – чувства порой совершенно необъяснимые. Просто человек должен кого-то любить и кого-то ненавидеть.

Старуха была глуха и, наверное, полагала, что ее шепот не доходит до моих ушей.

Всякий раз, когда я садился за стол, она шептала:

– Жрет, жрет и никак не нажрется.

Я внушал себе, что обижаться на столетнюю старуху так же глупо, как и на годовалого ребенка.

И все равно с трудом переносил оскорбление.

Под пристальным взглядом старухи ел я не больше, а, скорее, даже меньше других. И это, кстати, положительно сказывалось на моем здоровье.

Очень часто я слышал за спиной ее скрежетание:

– Скот безрогий.

Меня расстраивало, что я не просто скот, а именно безрогий. Мне отчего-то казалось, что быть рогатым скотом не так зазорно.

Все, что бы я ни говорил, она истолковывала на свой лад. Если я улыбался, ей казалось, что смеюсь над ней, и она тут же откликнулась:

– Еще и лыбится, ехидна.

Поэтому при старухе я старался не говорить и не улыбаться. И даже не смотреть в ее сторону. Тем более, что особого удовольствия это мне не доставляло. Старуха имела отвратительную привычку вставлять свою желтую челюсть за столом, а перед чаем вынимать ее изо рта и полоскать в большой алюминиевой кружке. Вам не приходилось слышать, как человек со вставной челюстью ест огурец? Ничего о терпимости вы не знаете.

Что бы я ни делал, она комментировала мои действия так:

– Разве так люди-то поступают? Руки бы оборвать да собакам отдать.

Если я ничего не делал, старуху выводило из себя мое безделье:

– Ишь, ряшку наел и сиднем сидит. Прохлаждается. Растряссти жир боится.

Очень трудно держаться с достоинством, когда тебя оскорбляют на каждом шагу и называют не просто скотом, но еще и безрогим.

Эта нелюбовь была вдвойне непонятна, поскольку старуха жила со своей дочерью в моей двухкомнатной квартире. Накануне декабрьских морозов их дом в пригороде пострадал от пожара. Виновницей его была, между прочим, старуха. И поскольку я был единственным, хотя и очень далеким, родственником, пришлось приютить погорельцев до тепла. Строители обещали отремонтировать жильё к Пасхе.

Никогда в жизни я не ждал Христова Дня с таким нетерпением.

Дочь старухи, тоже старуха, первое время смущалась и защищала меня, напоминая мамаше, чей хлеб они едят, и призывала не обижать хорошего человека.

– Хороший на волка похожий, – ворчала старуха и высказывала удивившее меня предположение, – поди, он-то и поджег нашу хату.

Дочь была старой девой. Впрочем, в ее возрасте это уже не имело значения.

– Мама вас за Егора принимает, – объясняла она, смущаясь, странное поведение суровой старухи.

– Кто такой Егор? – спрашивал я.

Дочь смущалась еще сильнее и отвечала:

– Она его не любила.

– Так объясните ей, что я не Егор.

– Она не поверит. Уж больно вы на Егора похожи. Вылитый Егор в молодости.

Ну, спасибо тебе, Егор. Какое же надо было совершить преступление перед человечеством, чтобы заслужить такую неприязнь. О сути преступления я мог только догадываться по сочувственному замечанию, высказанному однажды в мой адрес старухой-дочерью:

– Повезло вам: жены нет, а тещей обзавелись.

Старуха любила дочь. Причем тоже непонятно за что. Не проходило дня, чтобы любимая дочь не доводила ее до слез. Да, да, именно так: ты мне всю жизнь испортила... Очень часто мне приходилось вступаться за старуху и призывать ее дочь к милосердию и терпению. Но вскоре я прекратил миротворческие усилия, поскольку после моего вмешательства дочь старухи отворачивалась к окну и тихо плакала. Беспричинные оскорбления старухи я еще мог снести, но беспричинные слезы...

Возможно, именно то, что старуха смиренно сносила обиды от любимого человека, и было причиной нелюбви ко мне. Она должна была выплеснуть незаслуженную обиду на кого-то. Почему бы не на меня? Ведь я так раздражающе похож на неведомого мне Егора.

И тут меня осенило.

Я спросил дочь старухи, носил ли мой двойник бороду. И стал усиленно отращивать волосяной покров, чтобы скрыть под ним черты ненавистного Егора.

У меня появилась шкиперская борода, а отросшие волосы я собирал на затылке в хвостик.

Но старуха не поддавалась на обман. Я для нее оставался все тем же ненавистным Егором, только с бородой. Однако мой хвостик смешил ее. И я этим бессовестно пользовался, показывая время от времени свой профиль старухе. Она начинала безудержно веселиться и требовать, чтобы я подвязал бантик.

Старухе было далеко за девяносто. Как и большинству женщин ее возраста, старухе нравилось быть страдальцей.

Утром мы с дочерью старухи уходили из дома. Дочь была на пенсии, но подрабатывала киоскершей. Продавала газеты и журналы.

Я перекрывал газ, поскольку огнеопасная старуха хоть и была отлучена от плиты, но поползновения похозяйничать на кухне проявлялись. А дочь строгонастрого наказывала двор не покидать и в магазины не ходить.

Улица наша опаснее, чем сибирская река в ледоход. Все продуктовые магазины на противоположной стороне. Старуха же не признавала правила дорожного движения и по давней привычке игнорировала зебру перехода.

Старуха была строптивая и не слушалась дочь. Время от времени по вечерам, поджав губы, она рассказывала, как, возвращаясь из магазина, упала на улице, а чужие люди подняли ее, несчастную, отряхнули, собрали в пакет хлебобулочные изделия и довели до дому.

По всему было видно, как нравится старухе быть всеми брошенной, забытой и одинокой.

Рассказы эти бесили ее дочь.

– Какого черта ты поперлась в магазин? – кричала она.

Старуха же, делая вид оскорбленной добродетели, отвечала сердито:

– В доме нет ни крошки хлеба, надо же кому-то о хлебе позаботиться.

– А это что? – спрашивала, закипая от возмущения, дочь и демонстрировала хлебницу.

– Это черствый. Зубы пообломаешь, – отвечала упрямая старуха и, не утерпев выговаривала: – Если бы не я, так бы всю жизнь вчерашний хлеб и ели.

– Вот привяжу тебя за ногу к столу, чтобы не бегала, куда не надо, – кричала дочь и, понизив голос, жаловалась мне: – Совсем из ума выжила. Что мне с ней делать? Совсем как дите малое, а в угол не поставишь.

– Вы бы с ней поласковее. Человек хочет быть полезным, что в этом плохого? Ну, сходите с ней как-нибудь за хлебом. Пусть душу под присмотром потешит, – прикрыв рот ладонью и потупив глаза, советовал я. – Что вы на нее все время кричите?

– Как на нее не кричать, если она не слышит, – обижалась дочь старухи и, повернувшись к окну, давала волю слезам.

Глухая и подслеповатая старуха истолковывала все по-своему.

– Не слушай ты этого змея подколодного, – утешала она дочь, – опять скот безрогий до слез человека довел. Я бы на твоём месте давно выгнала его из дома.

К нелюбви старухи я стал привыкать и даже пришел к выводу, что человека кто-то должен не любить, чтобы он не считал себя совершенством и лишний раз не задирал нос. Люди, считающие себя святыми, несносны. Вот старуха и щелкала меня по носу, напоминая о моем несовершенстве. В этом было ее призвание и предназначение.

Когда же пострадавший от пожара дом был отремонтирован и старуха с дочерью покинули меня, я еще долго скучал по ее ворчанию. Чего-то мне не доставало.

На Пасху меня навестила дочь старухи. Похристосоваться. Принесла кулич. Сказала, что старуха тоже скучает по мне. Дословно:

– Как рассердится на меня, так и грозитя к Егору уйти.

Странное существо человек.

СТОРОННИК ДОМОСТРОЯ

Эту историю рассказал попутчик, сероглазый бородач, с которым довелось мне трое суток коротать время в одном купе. Всё, что я могу сказать о нем: ростом под два метра и звали его Александром. Возвращался он в южный город после вахты «на северах», и его рюкзак источал запах кедровой сосны. Мы с Александром занимали верхние полки, уступив нижние двум дамам: пожилой маме с дочерью зрелых лет. Мама угощала нас пирожками с капустой, а дочь сурово и мстительно смотрела в окно на уплывающий пейзаж, время от времени вздыхала, а порой и мироточила тихими слезами. А колеса на стыках: «всё позади, всё позади».

Так мы и ехали день, другой, а на третий Александр, не выдержав то ли пирожков с капустой, то ли неиссякаемых женских слез, спросил:

– Прошла любовь, завяли помидоры?

Грубовато, конечно. Однако женщине нужно было облегчить душу и высказаться. И она высказалась. При этом они с мамой поменялись ролями. Теперь старушка смотрела в окно и вытирала платочком глаза. Пересказывать историю обманутой женщины не буду, заметив, что все истории об изменах до скуки похожи.

То ли Александр намолчался в тайге, то ли захотелось ему утешить попугачицу, то ли по какой-то другой причине, но этот гигант под стук колес рассказал свою историю. А начал он так:

– Любовь, любовь... Это как бог: для кого-то есть, для кого-то нет. Наверное, да – есть. Только как ее понимать? Я понимаю так, что это болезнь. Не заразная, слава богу. Что-то вроде куриной слепоты. А сослепу чего не натворишь. О все косяки и притолоки лбом настучишься, все горшки перебьешь. Первую встречную курицу жар-птицей назовешь. Лично я сторонник домостроя. Скажу почему: семью нужно создавать на трезвую голову.

У моей мамы была подруга. Жила она в деревне Белоглинке у соленого озера. Не скажу чтобы очень большого, но другой берег можно увидеть только если доплывешь на лодке до середины. Места – хоть курорт открывай: вода теплая, бирюзовая, белые пески. Сопки, сосновый бор, серебряные мхи, воздух целебный – раз вдохнешь и от всех городских болезней навсегда излечишься. Само собой, грибы, ягоды. Дикая вишня, земляника, костянка, облепиха, ежевика. Рыбалка. Окунь. Лапти по килограмму. А главное – никаких курортов. Мы с мамой каждое лето в гости к ее подруге приезжали. Соседи на юг, к Черному морю, а мы на север. Спроси, где лучше. Дом на берегу. И тишина. Только волны шуршат. Утром выпрыгнешь из постели и в чем был сразу в озеро – бултых! Один купальщик на всё озеро. Плынешь, словно летишь между двух небес. И два солнца. Одно вверх поднимается, другое вниз опускается. А вода прозрачная. Как воздух.

Но всё заканчивается. И быстрее всего всё хорошее. Детство кончилось. Техникум. Армия. Мамы не стало. Много лет прошло с тех пор, как я в последний раз купался в соленом озере. И вот однажды приходит письмо из Белоглинки от маминой подруги. Зовет в гости. И было в этом письме что-то такое, что не мог я не приехать. Выпрыгнула из конверта ностальгия и вцепилась в горло. Не оторвать.

Как раз перестройка началась. Людей жаба стала душить, от добра добро стали искать, подсчитывать, сколько сортов колбасы за бугром выпускают. На синих кур и на свою судьбу жаловаться. Не так нас лечат, не тому учат. Живем в конуре. Гроши получаем. В те дни свежий сквознячок с плесенью только подул, но бардак уже проявлялся. Автобусы из райцентра в Белоглинку раньше три раза в день ходили, а к тому времени лишь три раза в неделю. Потом-то они и вовсе перестали ходить. Доперестраивались.

Приезжаю. Дверь закрыта. И вид у дома такой же печальный, как письмо. Стоит дом и только что не вздыхает. Соседка кричит: «Напрасно стучишь. Нет никого. Хозяйка в больнице».

Больница за грейдером, отдельно от деревни. Между двумя озерцами. Одно маленькое, круглое, другое побольше, продолговатое. Как бы спутники Соленого озера. Малое заросло камышом, можно сказать, болотце. В нем дикие утки крикают. Только их не видно. А в большом домашние гуси и утки плавают. Хвостики как поплавки торчат. Сама больница под соснами, а за больницей лесостепь, простор, облака. Тоска и воля.

Больница последний год доживала. Один врач на все болезни. Да и тот – фельдшер. Выдали мне нестиранный халат. Вошел я в палату. Нина Григорьевна, так звали подругу мамы, спала. У ее кровати девушка сидит. Я подумал – медсестра. Маленькая такая, конопатая. Брови от солнца выцвели. Подставил я стул. Сидим вместе. Молчим. Окно открыто. Ветер доносит то запах озера, то степи. То хохот мартына, то гогот гусей. А временами шум сосен вытесняет все звуки. В общем, деревенская тишина. Июнь.

Девушка говорит:

– Ночь была тяжелая. Полегчало. Спит.

Я Нину Григорьевну помнил озорной хохотушкой, красивой, загорелой. В теле. В деревне о таких говорят – справная. А в простынях, как в снегу, лежала... даже не знаю как назвать. Не скажу, что мумия. Такие лица пишут на иконах. Настрадавшееся, уже нездешнее существо.

Девушка, прихрамывая, подошла к окну. Босоножки. Голеностоп перевязан марлевым бинтом. Восьмеркой. Оступилась, наверное, сухожилия растянула. Смотрит на озеро. Халат не по росту. И, кажется, что от нее пахнет и полем, и соснами, и озером. Соленым. Слеза по щеке самостоятельно скатывается, посверкивает.

Нина Григорьевна проснулась и говорит:

– Аня, сходи, погуляй.

Девушка вышла. Нина Григорьевна спрашивает:

– Не узнал, Саша? Это же Аня, дочка моя.

Мне стыдно сказать, что не узнал. Хотя чего стыдного? Сколько лет прошло, как в последний раз я ее на плечах к озеру носил. Она мне: «Но!» – и хворостиной подстегивает. А я скачу галопом и игогочу на всю Белоглинку. Или, помню, белую глину в бору добывали. Туда едем, Аня в тачке сидит и путь указывает. А оттуда на куче сидит, чтобы глина не просыпалась, и песню поет: «Облака, белогривые лошадки...» Сколько ей лет тогда было? В школу еще не пошла. Лет пять-шесть. А я в класс пятый или шестой перешел.

– Как же не узнал, – вру, – узнал.

Берет она меня за руку. А ладонь сухая и легкая, как кленовый лист осенью. Спрашивает:

– Саша, у тебя есть девушка?

– Была, – отвечаю, – да сплыла.

Что к чему, рассказывать не стал. Да она и не спрашивала. И о чем рассказывать? История из серии «возвращается муж из командировки». Только я не из командировки, а из армии на побывку. Только с поезда сошел – приятеля встретил. Даже не приятеля – знакомого. Хлыщ, король танцплощадки. Усики, волосы на пробор. От бриолина блестят. На месте секунды не стоит, пританцовывает козлик. Он электричку ждал, на которую мне пересаживаться. Сейчас, говорит, я тебя с такой телкой познакомлю – закачаешься и от зависти в меланхолию впадешь. Нефертити рядом не стояла. Твоя Нефертити рядом с ней Золушка. У нас с ней солнечный удар произошел. Мы с ней всю Камасутру за один раз прошли, ничего не пропустили. Стою, слушаю. Всё равно ждать. Болтай, думаю, болтай, мы сказки любим. Электричка подошла. Увидел я, кого ждал мой знакомый, и действительно закачался. Мозг взорвался, и дым из ушей пошел. Он мою девушку обнимает, зовет в кафе посидеть. Даже глаз не отвела. Смотрит и одной стороной

рта усмехается. О чем говорить? Всё и без слов ясно. На электричку опоздать боюсь, говорю, к своей девушке спешу. Она меня очень любит и верность хранит. Так, по крайней мере, в каждом письме пишет. Повернулся. Ушел. Такая история. Как говорил мой дед, комедя.

А Нина Григорьевна гладит мою руку своей невесомой рукой и говорит:

– Вот и хорошо, вот и замечательно.

– Что же тут хорошего, тетя Нин?

– Хорошо, что вовремя разобрались, друг другу жизнь не испортили. Ты не переживай.

– А я и не переживаю. Не о чем переживать.

Смотрит она на меня как бы издалека-издалека и говорит:

– Я, Саша, не сегодня-завтра умру. Нет у меня времени вокруг да около ходить.

Ты уж извини. Я без экивоков. Мне умереть не страшно. Страшно Аню одну оставлять. Она такая беззащитная. Ночи не сплю. Всё думаю, что с ней будет. Люди-то какими злыми стали. Лежу, вспоминаю, как мы с твоей мамой мечтали породниться через детей. Да вот как всё вышло. Твоей мамы уже нет, меня скоро не станет. Всё разваливается. От нашей Белоглинки половина домов осталась. Скоро совсем исчезнет, огороды и сады коноплей зарастут. Непокойно у меня на душе, Саша. Тревожно. Как бы хорошо было на вашей свадьбе посидеть, и со спокойной душой – за первые лески.

Кладбище у них за первыми лесками.

Еще бы я не удивился. Без меня меня женили. Удивишься. Аню, конечно, жаль.

Но я и себе не чужой. Только что скажешь умирающему человеку?

– Не волнуйтесь, тетя Нин, – говорю, – позабочусь. Одну не оставлю.

Лицо у нее спокойное-спокойное стало. Улыбнулась она мне, руку погладила, глаза закрыла. И так легко-легко вздохнула.

– Я тебя, Саша, – говорит, – с детства знаю. Лучшего для Ани и пожелать нельзя. Аня хорошей женой тебе будет. Лучше жены и не придумать. Она у меня тихая, работающая и верная.

Вышел я из палаты. Аня на лавочке под сосной сидит. На озеро смотрит.

– Вы ее, Саша, извините. Больной человек.

Был у меня случай. Бездомного щенка в скверике встретил. Приласкал. Он за мной увязался. Я на него прикрикнул, чтобы отстал, и ногой топнул. Он и отстал. Оглядываюсь – он на меня смотрит. И так смотрит. С недоумением. Сколько лет прошло, а он на меня все смотрит. Должно быть, его и в живых давно нет, а всё смотрит.

Смотрю я на Аню и вспоминаю этого щенка. И так мне совестно.

– Помнишь, – говорю, – как я тебя в ведре в колодец опускал, чтобы ты днем звезды увидела? Стоишь в ведре и за цепь держишься. Видела звезды?

– Нет. Не видела.

Помолчали. Я говорю:

– Будем друг друга держаться, сестренка. А маму не надо расстраивать. Сделаем вид, что ее послушались.

Так и поступили. Сидим у кровати, за руки держимся, улыбаемся тетя Нине. Или дежурим по очереди. Сутки Аня, сутки я.

Короче говоря, тетя Нина через неделю счастливой умерла.

Похоронили мы ее. Я домой собрался.

Смотрю из окна автобуса – Аня у столба стоит. Столб без проводов. Платице старенькое. Нога перебинтована. Одна посреди умирающей деревни, посредине разваливающейся на куски страны. А глаза у нее, как у того щенка.

Автобус тронулся. Не выдержал я.

– Останови! – кричу водителю...

Александр замолчал. И мы молчали. Только колеса стучат: «было – прошло, было – прошло».

– И чем всё кончилось? – спросила наконец молодая женщина, пострадавшая от измены.

– А ничем не кончилось. Только всё и началось. Продолжение следует. Увез я ее с собой. Сейчас у нас с Аней трое ребятишек. Девочек именами наших мам назвали, а мальчика Антоном. Хвастать я не люблю. Скажу только: права была тетя Нина – лучше жены не придумать. Ни разу не пожалел, что в тот день из автобуса выскочил. А то – любовь, любовь... И насколько хватает вашей любви? На месяц, два? По любви можно двенадцать раз в год жениться. Как хотите, а я за домострой. Жена не на медовый месяц нужна, а на всю жизнь.

А колеса: «всё хорошо, всё хорошо»...



В июле 2023 года отмечает

80-летие

Аманкос ЕРШУОВ, *поэт*

Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляра!

